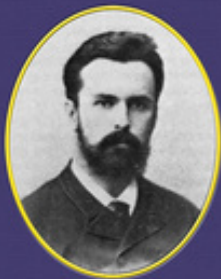


Е. Н
ТРУБЕЦКОЙ

Сочинения



Евгений Николаевич Трубецкой

Максимализм

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2553765

Аннотация

«В том колоссальном успехе, которым пользуется к России ибсеновский Бранд, поражает в особенности одна черта: восторженное поклонение относится в данном случае не столько к Ибсену, сколько к самому Бранду, успевшему за короткий срок стать героем нашего времени, идолом русской интеллигенции...»

Содержание

I	4
II	10
III	12

Евгений Трубецкой

Максимализм

I

В том колоссальном успехе, которым пользуется к России ибсеновский Бранд, поражает в особенности одна черта: восторженное поклонение относится в данном случае не столько к Ибсену, сколько к самому Бранду, успевшему за короткий срок стать героем нашего времени, идолом русской интеллигенции.

Энтузиазм с первого взгляда – мало понятный, потому что в личности Бранда неясно самое главное: какому Богу он поклоняется, чему учит, куда ведет своих последователей.

В чем заключается тот жизненный идеал, ради которого он отвергает мать, жертвует женою, сыном и, наконец, самим собою, – на это вряд ли кто-либо даст определенный ответ. Он где-то высоко над изменностью, этот идеал, **в горах**, куда Бранд уводит свою паству. Но, вместо цели и смысла, ради которого стоит жить, жертвовать собою и другими, мы видим на этих горных вершинах ибсеновской драмы только снег и лед, который убивает всякую жизнь, прикрывает и замораживает самого Бранда.

Так и остается неясным: кому и **для чего** нужны все эти

усилия, жертвы и подвиги.

Ясно только одно: Бранд был **максималистом**; и именно это привлекает к нему русскую интеллигенцию, которая находит в нем родственную себе черту. Он никогда не довольствовался относительным, а предъявлял к жизни максимальные требования: абсолютное совершенство или смерть: *«Или все, или ничего»*.

Бессодержательность этого максимализма не смущает русских почитателей ибсеновского героя. Бранд в своем отношении к жизни был **радикален**, непримирим; он презирал все относительные, условные ее ценности, и этого с нас довольно.

Эти качества пленяют нас **сами по себе**, и лишь немногие из нас спрашивают, **во имя чего** следует быть радикальным и непримиримым.

«Или все, или ничего», вот лозунг, который мы слышим уже восемь с лишком лет, с начала освободительного движения, с той самой поры, когда студенчество выступило в роли его авангарда. И конец этого лозунга, его практический результат – всегда один и тот же – **ничего**; у Бранда – снежная лавина, погребаяющая вместе с ним все его надежды, а у нас – **разбитое корыто**, единственно верный спутник наших освободительных начинаний.

И, странное дело, этот конец у нас мало кого смущает. В Бранде русская интеллигенция находит себе не осуждение, а оправдание: да, он терзал других и самого себя, ища добра,

сеял зло, других губил и сам погиб. Но он до конца жизни остался верен своей формуле, ни в чем не поступился своим радикализмом. Итак, будем продолжать в том же духе.

Что из этого выйдет на практике, не все ли равно: мы не примирились, мы сохранили чистоту нашей формулы; а для нас она безотносительно дорога, независимо от ее практического результата.

Сколько надежд уже разбил у нас этот прямолинейный максимализм, и сколько терзаний причинил он русскому народу! Еще при Александре II Россия рисковала получить первые зародыши представительных учреждений. Пусть это было малое зерно; из него могло вырасти дерево. Но Александр II был убит в самый день подписания им этой хартии; стараниями тогдашних максималистов у нас надолго воцарилось царство беспросветной реакции.

Убийство царя-освободителя – одно из самых характерных для русской революции деяний. У нас самая реакция вызывает меньше раздражения, нежели половинчатые уступки со стороны правительства. Александр II вызвал против себя море озлобления и ненависти со стороны русского радикализма **именно тем, что он вступил на путь уступок.**

Реакция отказывает освободительному движению решительно во всем: не давая ему ничего, она не противоречит второму термину брандовской дилеммы и никому не мешает требовать всего.

Напротив, уступки, умеренные, либеральные преобразо-

вания не укладываются в дилемму, нарушают священную формулу, а потому приводят в ярость. «*Ни все, ни ничего, а кое-что*», – этого русский радикал перенести не может, на это он скорее всего ответит взрывом ненависти, а то и взрывом в ином, буквальном значении этого слова.

Черта эта сказывается и в большом и в малом. Как ярко, например, она проявилась в истории наших студенческих движений! Учащаяся молодежь всегда довольно благодушно относилась к покойному Делянову, уничтожившему университетскую автономию. С тех пор у нас было много министров народного просвещения.

И на моей памяти ни один, даже покойный Н. П. Боголепов, при котором студенты отдавались в солдаты, не вызвал такого озлобления, как П. С. Ванновский, первый, вступивший на путь уступок и реформ. Киевское студенчество сожгло на площади не временные правила Боголепова об отдаче студентов в солдаты, а временные правила Ванновского, дававшие студенчеству некоторые корпоративные права. Тут же мне пришлось высказать мысль, к сожалению, оказавшуюся весьма близко к истине, что так же когда-нибудь будет сожжена на площади первая русская конституция.

Впоследствии точно так же всякий намек на возможность университетской реформы вызывал обострение студенческих волнений. И всякий раз мне приходилось слышать от моих радикальных слушателей такое объяснение: «Реформа нам нежелательна, потому что она может удовлетворить и

успокоить серую, буржуазную массу студенчества: это подрежет нам крылья. В наших интересах – накапливать недовольство».

Впоследствии, уже в конституционную эпоху, мне пришлось слышать, также из уст радикальной молодежи, такое мнение об умеренных аграрных проектах: «Сытость крестьянина – не в наших интересах, ибо она порождает довольство и успокаивает!». Вспомним печальную судьбу манифеста 17 октября. Разве он не был сигналом к общему взрыву! Сколько бед наделал России один страх радикальной интеллигенции, что он удовлетворит и успокоит!

И так же относился русский радикализм ко всем относительным, промежуточным освободительным ценностям: он видел в них только задержки на своем пути, препятствия к осуществлению своих безусловных требований. Он не хотел слышать о народном представительстве, не соответствующем четырехчленной формуле, не принимал народовластия иначе, как в форме республики, неограниченного народного самодержавия. Для него – лучше никакой конституции, чем конституция буржуазная, лучше монархическое самодержавие, нежели конституционная монархия; или *«вся земля всему народу»*, или никаких улучшений крестьянского быта.

Русский радикализм отрицает не только все исторически действительное, но и все исторически осуществимое. Поэтому его максимализм на практике проявляется как нигилизм, дикая, ничем не сдержанная и ни перед чем не останавли-

вающаяся страсть к разрушению. Из формулы *«или все, или ничего»* ему в действительности удастся добиться осуществления только второго термина – «ничего». Понятно, почему с этой формулой обыкновенно связывается другая, ей сродная и столь же нигилистическая – *«чем хуже, тем лучше»*.

Здесь кроется роковая причина всех пережитых нами неудач и крушений. Необходимость уступок и реформ в целях умиротворения, вот тот единственный аргумент в устах умеренной оппозиции, который от времени до времени влиял на правительство. Теперь, стараниями русского радикализма, у него отнята убедительная сила. Доказано неопровержимо, что с непримиримыми нет и не может быть примирения, что уступки не приводят к успокоению, а наоборот, вызывают новый подъем революционной волны. Когда правительство убедилось в малочисленности тех слоев населения, которые дорожат уступками уже сделанными, оно начало брать их назад. Пока могло казаться, что революция дает кое-что, радикалы выходили из себя. Теперь, когда стало вероятным, что она не дает ничего, их негодование утратило силу. Зачем им волноваться: **они спасли свою формулу!**

II

Слово «максимализм» вызывает в нашем сознании два противоположных, трудно согласимых ряда представлений. С одной стороны, «максималист» – это крайний идеалист, который не идет ни на какие компромиссы, требует немедленного осуществления идеала во всей его полноте, не соглашаясь не только на ограничения, но даже и на отсрочки.

С другой стороны, ставшая привычной ассоциация идей связывает с тем же словом представление об экспроприаторе, который кричит «руки вверх» и грабит, – не то для революционных целей, не то в собственную пользу. Это – что-то среднее между революционером и простым мазуриком.

Это сочетание противоположностей, объединенных общим названием, не есть результат словесного недоразумения. Жизнь действительно знает эти совмещения и эти переходы от крайнего идеализма к крайней преступности – до полной утраты человеческого облика. И, несомненно, русский радикализм включает в себе частью элементы, частью же зародыши как того, так и другого.

Классическим типом идеалиста-преступника является Раскольников Достоевского. Все черты русского максималиста, как в широком, так и в тесном значении этого слова, в нем налицо. Это – мечтатель, который во имя своей социальной утопии совершает двойное убийство и экспроприа-

цию. **Двойное убийство!** Гений Достоевского провидел даже и эту черту – убийство ни в чем не повинной Елизаветы, **случайную** жертву, которая гибнет от удара, направленного против другого лица, гибнет только от того, что максималист встречает ее на своем пути.

И тот же Достоевский вскрывает логические основания перехода от утопии к преступлению. «**Я – обладатель той единой спасающей формулы, которая должна облагодетельствовать человечество: ergo мне все дозволено, я все могу преступить**». Тут – безграничная вера двоякого свойства: в непогрешимость, святость формулы и в самого себя, как ее носителя.

Такова же и теперь экспроприаторская психология и логика, с одной, впрочем, разницей. Индивидуалист Раскольников верит самому себе, **своей** формуле, своему личному гению, знанию и умению. Он действует за свой риск и страх, от собственного имени. Нынешний же измельчавший, **стандартный** максимализм верит в непогрешимость **партий** и партийных лозунгов.

Но сущность одна и та же. Найдена абсолютная истина, **формула**, которой ее обладатель поклоняется как божеству, как идолу. Человеческий закон воспрещает кровавые жертвы, но **божество** их требует. *Ergo* – человеческий закон должен быть нарушен.

III

Уже давно замечено, что фанатизм русской радикальной интеллигенции тесно связан с ее бессознательной религиозностью. Всякую социальную утопию она принимает как религиозный догмат, как откровение, коего каждая буква священна. Вся русская революционная партия имеет тенденцию превратиться в секту, которая мнит себя единой спасающей церковью, а потому ненавидит все прочие секты, как еретические. У всякой – свое евангелие – от Маркса или от кого-либо другого, свои революционные святцы, мученики и праздники, когда полагается воздерживаться от труда и предаваться неделанию. И всем им свойственно присущее религиозным сектам стремление к дроблению. Самые крайние партии кажутся части их сторонников недостаточно крайними, оппортунистичными. И в поисках за абсолютным радикализмом рождаются новые партийные образования: большевики среди социал-демократов, максималисты в тесном смысле слова среди социал-революционеров. Все они говорят не от себя, а как бы «от Бога», в каждом революционере сидит непогрешимый папа, все мыслят свой социальный идеал не иначе, как в форме безусловного.

Максимализм в широком смысле – их общая родовая черта. И источник его – всегда один и тот же. В существе своем максимализм – не более и не менее как извращение одной из

наиболее привлекательных и ценных сторон русского характера. Это – одна из многих аберраций нашего религиозного сознания – **сбившееся с пути религиозное искание**.

Неудовлетворенность всем вообще существующим, неспособность к компромиссам, непримиримость, склонность к повышенным, максимальным требованиям, – все это частные проявления той жажды **безусловной, совершенной правды**, которая живет не только в нашем интеллигенте, но и в простом народе.

С этой особенностью связана и наша сила и слабость, все то, что есть в нашем национальном характере благородного и отвратительного. Здесь – залог высокого подъема духа, великих подвигов и творчества; но здесь же таится возможность крайнего падения. Извращение лучшего из человеческих качеств становится источником худшего из зол. Сбившееся с пути религиозное искание обращается на недостойные предметы и создает себе идолов. А идолы обыкновенно бывают ревнивы, завистливы, бесчеловечны и кровожадны.

Русская действительность полна печальными тому доказательствами. Русский интеллигент жить не может без идолов и делает их изо всего на свете: из народа, из партии, из формулы, из учения, в котором он видит «последнее слово науки». И все человеческое забывается и утрачивается в этом идолослужении. Это – то самое, что создаст преступную атмосферу. Становясь предметом исключительного почитания, идол вместе с тем становится единственным крите-

рием нравственных обязанностей. От всяких других он освобождает своих поклонников: одни считают все дозволительным в интересах народа, другие – в интересах единой спасающей партии, третьи – ради торжества единственно непогрешимого догмата.

Этот догматизм – смерть духовной жизни, ибо он усыпляет разум и освобождает от труда искания. Кто мнит себя в обладании безусловной правдой, тот уже не ищет, не подвергает критике своих догматов, а навязывает их другим, насилуя и принуждая к молчанию несогласных. С верою в собственную непогрешимость связывается крайнее самодовольство, сомнение и деспотизм, опьянение и бред величия, свойственный «монополистам» истины.

Идол требует от своего поклонника высшей жертвы: он пожирает его самого, убивает в нем человеческое чувство, уничтожает всякую общественность. Он создаст, с одной стороны, преступные типы, анархистов, которые ведут истребительную войну против всякого не соответствующего их формулам общества, а с другой стороны – рассудочные машины, доктринеров, неспособных к какому-либо живому практическому делу.

Максимализм и доктринерство грозят остановить у нас всякую общественную жизнь: нельзя учиться в школе, потому что мы не имеем «истинно-демократической школы»; нельзя законодательствовать в парламенте, потому что мы не имеем «истинно-народного представительства». Нельзя тер-

петь какую бы то ни было власть, пока власть не перейдет в руки народа. Нельзя давать заниматься земледелием, пока вся земля не перейдет в руки всего народа; нельзя давать работать фабрикам, покуда мы не добьемся восьмичасового рабочего дня. Нельзя давать жить, пока не восторжествуют в полном объеме наши священные формулы.

Что из того, что этим мы ввергаем народ в нищету, уничтожаем всякую безопасность, продолжаем до бесконечности безнадежную, партизанскую войну и создаем силу реакции. Наша цель – не человек, не его благоденствие и счастье, а **формула**, которая для нас – то же, что Иегова для ветхозаветных иудеев: *«Аз семь Господь Бог твой, да не будут ти бози иные, разве Мене»*. Итак, будем поить наших идолов кровью.

По отношению к безусловной правде максимализм уместен: она действительно требует от человека, чтобы он отдавался ей всем сердцем, всем своим существом. Это выражено в евангельской притче о купце, который ради драгоценной жемчужины жертвует всем своим достоянием, и в известном Тексте: *«Кто не оставит отца и мать свою ради Меня, несть Меня достоин»*. Тут, действительно, нет места для компромисса. Безусловному человек должен принести себя в жертву всецело и без остатка.

Но беда наша в том, что мы почитаем как безусловное те временные ценности политического рынка, коим сегодня цена одна, а завтра другая. Мы отдаем себя в совершенную

жертву изменчивым, преходящим требованиям, политическим и социальным, и этим подрываем свою творческую силу: мы не в состоянии создать ничего прочного, непреходящего.

По назначению своему наша интеллигенция – соль земли русской. Но догматизм и идолослужение сделали ее солью, потерявшей силу. Неудивительно, что жизнь прошла мимо нее и разбила ее идолов. И мы не должны этому печалиться: ибо, во-первых, гибель богов – уже сама по себе – некоторая победа истины. А, во-вторых, крушение кумиров освобождает душу от плена, делает ум открытым для искания и подготавливает новый подъем – в сферу действительно Безусловного.